



Н. СТРУВЕ

Восемь часов с Анной Ахматовой

Как известно, в последних числах мая 1965 года Ахматова в сопровождении своей внучки *par alliance* Ани Каминской приехала в Англию для получения в Оксфорде звания доктора *honoris causa*. На обратном пути ей было разрешено остановиться на два дня в Париже, куда она приехала в четверг 17 июня вечером. Так как на воскресенье все места в московском поезде были уже заняты, то Ахматовой поневоле разрешили остаться в Париже лишний день. Помимо Ани Каминской, из Лондона в Париж Ахматову сопровождала студентка из Америки, Аманда Хэйт.

За эти дни у меня было с Ахматовой три встречи, продолжавшиеся в общей сложности более восьми часов. После отъезда Анны Андреевны я сразу же записал содержание наших бесед, причем старался как можно точнее воспроизвести слова Анны Андреевны, сохранить ее интонации. Старался также представить наши беседы возможно полнее, но, разумеется, память не все сохранила, а кое-что, более личное или относящееся к людям еще живым, опущено сознательно.

Как было условлено, в субботу 19 июня, ровно в 2 часа пополудни, я был в гостинице «Наполеон», в которой остановилась Ахматова *. Прощу обо мне доложить. В этот момент раздается телефонный звонок. Служащий передает мне трубку: «Это вам». И слышу медленный, густой, глубинный голос: «Здесь Ахматова. Вы уже приехали? Простите, я задержалась в городе, сажусь в машину».

Отвечаю нелепо, оробев: «Вас можно подождать?» Тот же голос, возмущенно-ласковый: «Ну конечно, я для этого и звоню, сейчас еду».

* Возле Триумфальной арки. Владельцем гостиницы оказался сын С. Маковского, который, когда узнал о приезде Ахматовой, немедленно предоставил ей бесплатную комнату.

Имя Ахматовой по телефону, голосом самой Ахматовой! Тут было от чего смутиться... Ведь Ахматова была для меня прежде всего представительницей Серебряного века, навсегда ушедшего в прошлое, женой давно погибшего, с детства еще любимого поэта, «предметом» литературного изучения. В Сорбонне читал лекции о Гумилеве, в стихах которого вставал таинственный образ «враждующей» подруги:

Из города Киева,
Из логова змиева,
Я взял не жену, а колдунью.

Читал и о самой Ахматовой, составив небольшую антологию ее стихов, вышедшую на ротаторе, в издательстве Имка-Пресс, под названием «Пятьдесят стихотворений». Правда, за последние годы образ Ахматовой из туманной литературной дали приблизился. Зазвучал с пластинки ее живой голос, такой исключительный, такой неповторимый: кто хоть раз его слышал, тот уже не может отделить его от ее поэзии. Магнитофонная запись передала непринужденную беседу Ахматовой с одной из моих студенток... Но встреча с Ахматовой казалась по-прежнему недостижимой, немислимой. И вдруг, в телефонную трубку: «Здесь Ахматова». Минут через двадцать подъезжает машина, подхожу, лицо Ахматовой озаряется приветливой улыбкой, глаза сияют весельем и добротой — это то мягкое, простое, оживленное лицо Ахматовой, для меня незабываемое, но которое совершенно не передают фотографии. — Не случайно Анна Андреевна не любила сниматься, чувствуется, что перед фотографом она всегда позировала, каменела, и на пленке запечатлевался лишь внешний ее облик, часто на нее совсем не похожий (эта окаменелость отчасти передалась и ее портретам).

— Вы по мою душу, идете.

Идет в сопровождении студентки-американки, под руку, с трудом передвигая тяжелые ноги, величественно и повелительно. «Куда?.. Туда?»

В лифте. Как странно, как невероятно очутиться в парижском лифте с автором «Четок» и «Реквиема»!

— Была точь-в-точь такая же прекрасная погода 50 лет назад, когда я уезжала из Парижа.

На мой вопрос: «Узнаваем ли Париж?» — «Нет, совсем не узнаваем, это не тот город».

Входя в комнату, где, по-русски, всюду что-то валялось:

— Боже, какой беспорядок!

Садится, спиной к окну, в кресло, на котором так и будет сидеть, не вставая даже на звонки, отвечать на которые придется самим посетителям.

«Ну, садитесь ближе, я глухая. Спрашивайте, я, как Ларусс, отвечаю. Впрочем, вас больше интересует Мандельштам» (Анна Андреевна прослышала от моих студентов, что я большой поклонник Мандельштама и собираю о нем материалы). Но о Мандельштаме Анна Андреевна рассказала немного, зная, что я читал ее воспоминания о нем в «Воздушных путях».

«Жена Осипа Эмильевича, Надежда Яковлевна, до сих пор мой ближайший друг, лучшее, что есть во мне» *. С оттенком задумчивости и грусти: «Это был на редкость счастливый брак. Правда, Мандельштам влюблялся часто, но быстро забывал. Успеха у дам не имел никакого. В меня он был влюблен три раза. Любил говорить: Наденька, наши стихи любят только твоя мама да Анна Андреевна... Умер он в лагере голодной смертью, боялся, что его отравят, от того же умер и Зощенко, превратившийся перед смертью в собственную тень».

Но скоро разговор перешел на творчество самой Анны Андреевны. Я ей сказал, что читал в Сорбонне лекции почти о всех главных поэтах XX века, но труднее всего мне было читать именно о ней. Ахматова ответила:

— Да, это простительно не понимать моей поэзии, ведь главное еще не напечатано.

Но что это главное, не пояснила. В дальнейшем ходе беседы она часто упоминала трагедию «Сон во сне», цикл «Черепки», близкий к «Реквиему», цикл «Черные песни». Перепутав оба названия, я как-то переспросил: «“Черные песни” — это то, что близко к “Реквиему”?», — на что она ответила: «C'est tout le contraire...» **

— Но вот как бывает, — продолжала она, — недавно, в связи с моим семидесятипятилетием, в «Новом мире» разрешили что-то пикнуть, поручили написать заметку Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял, а вот Н. В. Недоброво знал только первые мои две книжки, а понял меня насквозь, ответил заранее всем моим критикам, до Жданова вклю-

* Ср. такое же замечательное определение дружбы в стихотворении 1964 года памяти В. И. Срезневской, друга всей жизни:

И мнится, что души отъяли половину —
Ту, что была тобой — в ней знала я причину
Чего-то главного...

** Это совсем другое (*фр.*). — *Ред.*

чительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек «Русской мысли» за 1915 год, — лучшее, что обо мне было написано. Это ваш дед, Петр Бернгардович, ее заказал. А с Синявским я встречалась в Москве, говорила ему, но как его ругать, ведь он такой хороший, его так молодежь любит...

Ахматова тяготилась тем, что для многих она осталась по-этом «Четок» и «Белой стаи», и винила в этом эмигрантских критиков:

— Откуда это они взяли, не понимаю, всюду это пишут, что я 18 лет молчала? По какой это арифметике они учились? Ведь вот я только что записала: у меня 9 стихотворений 1936 года, уж не говоря о «Реквиеме», начатом в 1935 году; есть стихи и в 1924 году, и в 1929 году. А вот что меня не печатали, это верно! Как было в 1925 г. постановление Центрального Комитета партии — я тогда еще толком не знала, что такое Центральный Комитет, в голову не приходило — постановление Ахматову не печатать, а потом уж пошло, как у вас говорится: «comme sur des roulettes»*, но из этого совершенно не следует, что я молчала. Надеюсь, — прибавила она, — я вас достаточно убедила**.

— Целых пять раз меня печатали, но не издавали: когда книга была набрана, приходило распоряжение сжечь ее или извести на бумагу... Но некоторые экземпляры сохранились, недавно мне Сурков один такой экземпляр принес, из архива Еголина, кажется.

Насколько помню, речь шла об издании сборника Ахматовой в 1946 г., перед самым постановлением Жданова.

Анна Андреевна держала в руках небольшую книжечку в сафьяновом переплете, подаренную ей в Англии; в ней были записаны разные имена, поручения и ряд неизданных стихов, записанных на память:

— Вот видите эту книжечку? Завтра перед отъездом я ее сожгу...

— Что вы, что вы, оставьте ее здесь.

— Ну, это нет! — Вот этими руками два раза я сжигала свои архивы. Когда я написала трагедию «Сон во сне» в Ташкенте, а потом вернулась в Петербург, вскоре после конца блокады (в июне 1944 г.) — между прочим, это был страшный город, покрытый толстым слоем битого стекла, его убирали, но его

* пошло, как по маслу (фр.). — Ред.

** См. на ту же тему, со слов Ахматовой, в книге Льва Озерова «Работа поэта» (с. 193). Слово «молчала» Ахматова понимала в буквальном смысле, тогда как часто критики имели в виду отсутствие печатных произведений.

столько было, что все равно ходили по стеклу — я сразу поняла, какое было настроение, и сожгла трагедию.

— Представьте только себе, в течение 15 лет я ни разу не вошла в свой дом без того, чтобы сразу за мной не вошло два человека... Мне не верили, когда я это рассказывала, а сын одной моей подруги даже решил проверить и как-то со мной пошел, ну и убедился на деле...

Меня интересовали судьбы некоторых писателей. Я позволил себе спросить Анну Андреевну, известно ли что-нибудь о судьбе «голубоглазого гимназистика» Сережи Соловьева, поэта-символиста, ставшего в 1917 году священником. Ахматова задумалась, переспросила:

— А вам это действительно интересно? Рассказать? Это страшная история... Его взяли в 1937 году, в тюрьме он сошел с ума, как почти все у нас, жил на попечении дочерей, в каждом стуке ему казалось, что для него готовят виселицу... А раз как-то он выбежал полуодетый на улицу и спросил первого попавшегося милиционера: «Я знаю, что меня должны расстрелять, но не знаю, куда нужно идти». А тот ему ответил: «Не беспокойтесь, товарищ, когда нужно будет, за вами пришлют». Ну, а потом он умер, что называется, своею смертью.

Спросил я и о судьбе другого поэта-символиста, В. Пяста, о котором, с чьих-то слов, А. М. Ремизов мне рассказывал, что он покончил с собой.

— Что вы, зачем, — удивилась Анна Андреевна, — ведь он был совсем сумасшедший, настоящий психозфреник, зачем ему было кончать с собой, он умер своею смертью.

Зашел разговор о Марине Цветаевой, а с ней и о других злополучных возвращенцах. Ахматова стала вспоминать о своей встрече с Цветаевой в 1940 году, в Москве:

— Шли мы как-то вместе по Марьиной роще, а за нами два человека шло, и я все думала, за кем это они следят, за мной или за ней?..

Я спросил:

— После этой встречи вы и написали «Невидимка, двойник, пересмешник...»? (стихотворение, посвященное возвращению Цветаевой и трагедии, постигшей ее семью).

— Нет, это было уже написано, но я не посмела тогда ей это прочесть. Вас это, наверное, удивляет? — Некоторые считают, что в ее гибели были и творческие причины, говорят, она написала поэму, совсем заумную, всю из отдельных, вылитых строк, но без всякой связи... Конечно, такую поэму можно написать только одну, второй не напишешь.

— Но я слышал, что и сын ее сыграл роковую роль своими उपреками?

— Да, — подтвердила Анна Андреевна, — это верно, так обыкновенно бывает, когда безумна родительская любовь, балуют, ну а потом так оборачивается, — он даже на похороны не пошел... Я его хорошо знала в Ташкенте. Он там жил в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла, а он приходил брать; этот ташкентский хлеб, тяжелый, как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестным; никакого официального сообщения о том, что он пал смертью храбрых, — не было. Он такой был, что мог быть убит и как дезертир или еще как-нибудь*.

Об известном литературоведе, князе Дмитрие Святополк-Мирском, вернувшемся в Россию в начале 30-х годов, Ахматова выразилась так:

— И зачем он только вернулся, такой был красивый, умный... Умер он не сразу, но страшной, ужасной смертью, где-то на Колыме... Вот и он очень хорошо обо мне написал, всего несколько фраз в своей маленькой истории русской литературы на английском языке.

Говорила Анна Андреевна и о трагической судьбе Гаяны, дочери поэтессы матери Марии Скобцовой.

— У Алексея Толстого, который соблазнил ее вернуться, ей было очень плохо, она должна была от него выехать и через несколько дней умерла в больнице, якобы от тифа, но ведь от тифа так быстро не умирают... Алексей Толстой был на все способен.

Во время этой первой беседы с Ахматовой зашел ее старый знакомый, Сергей Ростиславович Эрнст. Ахматова уже успела с ним повидаться и сказала мне властно:

— Уходить не надо.

С. Р. Эрнст, знавший хорошо Кузмина, спросил о его судьбе:

— Ну, Кузмин умер собственной смертью, у него было несколько сердечных припадков, его отвезли в госпиталь, там его ко всему еще и простудили. Умер он без свидетелей. Его друг Юркун, к тому времени уже женившийся, был при нем, но в момент смерти не был, куда-то вышел. Смерть его в 1936 году была благословением, иначе он умер бы еще более страшной смертью, чем Юркун, который был расстрелян в 1938 году. Единственный раз, когда меня вызывали в прокуратуру, это

* Есть версия, согласно которой сын Цветаевой был отправлен в штрафной батальон.

было не так давно, для «закрытия дела» Бенедикта Лившица, расстрелянного в 1938 году. Вам, наверное, не очень ясно, что значит «закрыть дело» и для чего я им понадобилась? Дело в том, что им непременно нужен кто-нибудь не из своих, чтобы свидетельствовать о невиновности расстрелянных. Если к своим обращаться, то уж наверняка какое-нибудь новое дело откроется. Вызывали на пятый этаж без лифта. Я им говорю: «Высоко очень, мне трудно». А они отвечают: «Ничего, медленно пойдете...» Так там, в этом деле, было много разных имен, среди них и имя Кузмина.

Эрнст интересовался портретами Ахматовой, старался, вместе с ней, их все перечислить. А Ахматова комментировала:

— Фаворского ужасен, Сорина — прямо конфетная коробка... у меня висит только один — Модильяни.

Эрнст стал вспоминать, кто писал Ахматовой в альбом.

— Да мне многие в альбом писали, а потом я этот альбом в музей увидела. Страшно это неприятно — видеть свои вещи в музее, ничего нельзя изменить уже, ни одной запятой... Все мы это так перед грозой отдавали свои альбомы Бонч-Бруевичу, а он их скупал для государственного архива*.

Ахматова показала нам переводы своих стихов на иностранные языки: «Вот смотрите, целых три издания на итальянском языке. Как вы думаете, к чему бы это? Мне кажется, это все неспроста». Вероятно, она намекала на возможность получения Нобелевской премии...

Несколько раз Анна Андреевна вспоминала оксфордское торжество:

— А Вознесенский, который в то время был в Англии, даже не удосужился приехать. Зато Райкин был. Как? Вы не знаете, кто такой Аркадий Райкин? Самый знаменитый человек в России... Он потом пришел меня поздравить, — и, показав большим и указательным пальцем размер яйца, добавила: — Вот какие слезы у него были на глазах!

Я обмолвился, что у меня в кармане был билет в Англию, но что в последнюю минуту поехать я не смог.

— Что вы!

— Знаете, у нас это все легко, рукой подать.

— Да, — ответила Анна Андреевна задумчиво-грустно, — у вас все рукой подать. А у нас отняли пространство, время, все отняли, ничего не осталось...

* Согласно Путеводителю по Центральному архиву, альбом Ахматовой поступил в 1933 г.

Но на следующий день: «У нас молодежь хорошая, читающая, и критики будут, все будет».

Потом, как-то неожиданно Анна Андреевна сама предложила нам почитать стихи. С. Р. Эрнст сказал: «Прочтите нам что-нибудь из “Четок”». Но Ахматова поморщилась и ответила:

— Зачем? Это вы сами можете прочесть. Лучше я вам прочту то, чего вы не знаете. Какая у вас память?

Несколько растерявшись, я ответил: «Посредственная».

— Ну, тогда можно. А то у нас в России у всех память баснословная. Вот я как-то прочла кому-то одну песенку, а на следующий день ее вся Москва уже распевала.

И Анна Андреевна начала читать... Описать словами волшебство ее чтения невозможно. Добродушно-насмешливая улыбка, не покидавшая ее во время разговора, исчезла. Лицо сделалось еще сосредоточеннее, еще серьезнее. Стихи как бы росли изнутри, рождались заново. Сначала Анна Андреевна прочла нам до сих пор неизданное маленькое стихотворение Немного *географии*, посвященное местам ссылки сына, и, если не ошибаюсь, Мандельштама: «Только не запоминайте!» Прочтя, пояснила: «А вы заметили, как оно построено, — целиком на одной фразе».

На следующий день я спросил, нельзя ли записать на ленту. Анна Андреевна отказалась наотрез:

— Вам будет немного географии, а мне премного неприятностей.

Перед тем как прочесть стихотворение «Мелхола», она спросила, знаем ли мы эту любовную историю из Книги Царств. Мы должны были признаться, что не имеем о ней никакого понятия. И Анна Андреевна нам подробно передала библейский рассказ. Прочтя стихи, спросила: «Она похожа на двух моих других библейских жен?» Я ответил, что первые две, Лотова жена и Рахиль, похожи, а что эта третья несколько иная. Анна Андреевна не возразила:

— Может быть.

Читала она и из «Трагедии» и в нескольких словах коснулась ее содержания:

— Там у меня свой театр на сцене, и свои зрители... Очень этой моей трагедией интересуется Дюссельдорфский театр шлет телеграммы, просит выслать рукопись для постановки, даже не зная, в чем там дело. Перед самым отъездом получила телеграмму, не остановлюсь ли я в Дюссельдорфе, обещали целиком оплатить пребывание... вообще, прямо как пятьдесят лет назад.

Но, может быть, самое сильное впечатление в тот день осталось от ее чтения «Третьей Северной элегии»:

Меня, как реку,
 Суровая эпоха повернула.
 Мне подменили жизнь...

 Сколько я друзей
 Своих ни разу в жизни не встречала,
 И сколько очертаний городов
 Из глаз моих могли бы вызвать слезы.

В Париже, где вновь Ахматова встречала друзей после полувековой разлуки, эти стихи звучали с удвоенной силой.

После чтения стихов разговор уже не возобновлялся. Вскоре послышался стук в дверь. Вошел посетитель, граф З., близкий друг Анны Андреевны по Петербургу, с которым она не виделась около 50 лет. На прощание Анна Андреевна мне сказала: «Позвоните мне еще». Перед тем как выйти из комнаты, я еще раз обернулся. Анна Андреевна пристально и ласково смотрела на своего, совсем уже старенького на вид, посетителя и сказала: — Ну вот, привел Господь еще раз нам свидеться...

На следующий день, в воскресенье 20 июня, мне было назначено быть в гостинице в восемь часов вечера. Шел я в этот раз на свиданье «со страхом и трепетом». Анна Андреевна сидела на том же месте, более нарядная, чем накануне, в синем платье с белой вышивкой, купленном, как мне потом сказали, в Лондоне. Аня Каминская и Аманда шли в театр и просили меня сидеть как можно дольше, до их возвращения, чтобы Анна Андреевна не беспокоилась. Я не мог не признаться в своем страхе остаться наедине с Ахматовой. Хотя я и сказал это вполголоса, Анна Андреевна услышала. Тогда я ей объяснил: «Вчера я не боялся, а сегодня боюсь!» — «Почему так?» — «Потому что вчера не знал, а теперь знаю...» — «Интересно». Тут вступилась Аня Каминская: «Вот видите, бабушка, какой вы страх на всех наводите. Да, это со всеми так, все боятся». В этот момент кто-то прислал анонимно — «классическую» шаль. Анна Андреевна посмотрела на нее как-то грустно-безу-
 частно:

— У меня такая ужасная черта, я все подарки передариваю. И мои друзья это знают и больше ничего не дарят. Все это пойдет кому-то...

Когда «девки», как Ахматова шутила называла своих спутниц, стали уходить, Анна Андреевна обратилась ко мне: «Я вам про-

что «Стансы»». Но тут ей напомнили, что я принес магнитофон и что, может быть, она не откажется записать стихи на ленту. Я стал отнекиваться, мол, «не хочу неволить». Ахматова рассмеялась: «Ничего себе получается!» Но так «Стансов» я и не услышал...

Ахматова, несмотря на усталость, согласилась наговорить на ленту свои стихи. Несколько раз, по моей вине, начинала чтение сначала. Но разговор записать не позволила: «Знаете, на одном обеде в Москве я как-то разразилась гневной тирадой против Натальи Николаевны Пушкиной, а хозяин тайком записал на ленту мое красноречие. Представляете себе, какая подлость!» Записав пять стихотворений: «Теперь хватит, я устала».

Я сказал, что все эти парижские встречи, вероятно, не подходят даром. «Да, это просто какой-то бред, сама себе не верю». — «А я тут еще отнимаю у вас время...»

— Что вы, что вы, это совсем другое. Вы себе не представляете вашего преимущества. Вы же новый человек.

В комнате стемнело. Наступила тишина. Я спросил, всегда ли Анна Андреевна летом живет в Комарове. Она ответила задумчиво: «Да, там кукушка поет и сосны шумят».

На столе лежал номер «Воздушных путей» с ее воспоминаниями о Модильяни и Манделъштаме:

— Я еще не видела, что они там напечатали, ну, оскоромлюсь, посмотрю.

— Там, — говорю я, — полный, как будто, текст, все инициалы раскрыты, очень Городецкому достается.

— Ну, этот еще не такого заслуживает.

Смотрит книжку: «Нет, ничего, главное не напечатано». Увидя рядом напечатанные воспоминания Е. Тагер: «Я вижу, вы меня тут разбавляете. Тагер была очень хороший человек, но Манделъштама знала мало».

Анна Андреевна спросила мое мнение о воспоминаниях. Я ответил:

— Это просто музыка.

— Да? Проза поэта?

Я пояснил свое впечатление: «Да, но это прежде всего проза». Анне Андреевне этот отзыв очень пришелся по сердцу.

— А правда ли, — спросила она меня, — что вы в Россию кому-то написали о моих воспоминаниях: «Je possède les feuillets du journal de Sappho»? *

— Никогда в жизни такого не писал...

— Ну вот, верь потом людям.

* «Я располагаю страницами дневника Сафо» (фр.). — Ред.

Я осведомился, скоро ли будут перепечатаны ее три статьи о Пушкине.

— Валяются в ногах, чтобы их издать, но у меня нет времени, все переводить надо.

— А разве они не кончены?

— С Пушкиным никогда ничего не кончено.

— А как обстоит дело с вашей книгой «Гибель Пушкина»?

— Мне не хватает одного документа, письма Николая I к послу Х (к сожалению, я не запомнил имени посла. Насколько помню, речь шла не о Геккерне). Оно было послано с кем-то, из боязни цензуры! До чего дошли, даже царские письма перлюстрировали! Я Николая I не люблю, не за что его любить... Всё красотики, мундиры... Так вот, это письмо у голландцев, а они его не выдают. Мне даже фотокопия не нужна, только бы взглянуть... Да, в своей книге я дошла до любопытного заключения, что главные виновники гибели Пушкина — его же друзья, которые тогда составляли то, что называется *bande joyeuse*, ни о чем не заботящиеся...

— Ваша книга была написана до нижнетагильской находки. Подтверждает ли эта находка ваше заключение?

— Да, это одновременно и лестно, и горько. То, что я предвосхитила, подтверждается письмами Карамзиных. Так что теперь мне только расставить цитаты. Какие безответственные друзья! Никому таких не пожелаю. Меня даже не умиляет, когда Карамзина благословляет умирающего Пушкина. Ей бы все показать, как незаслуженно хорошо относился государь к Пушкину, мол, не чета ее мужу. А Софья, которая больше заботится о Дантесе...

— Я слышал, что ваш редактор требовал от вас каких-то изменений и что вы чуть ли не спустили его с лестницы?

— Нет, такого не было. Но контракт на эту книгу я не подписываю, боюсь — дадут деньги, а издать не издадут.

Заговорили о переводах. Себя Анна Андреевна считала неперево­димой.

— Мандельштама, по-моему, еще можно переводить, а меня уж совсем нельзя.

В то время Анна Андреевна переводила Леопарди. Я должен был признать, что совершенно его не знаю, ее это удивило.

— Не кажется ли вам, что переводить страшно легко? Мне даже кажется иногда, что я как бы кого-то обманываю, так это легко получается.

В другой беседе Ахматова жаловалась, что ей приходится переводить поэтесс, которые ей же подражают: «Омерзительнейшая работа».

К 10 часам вечера к Ахматовой пришел А. С. Б., много потрудившийся, чтобы найти Анне Андреевне комнату в переполненном Париже.

Это был «обычный» посетитель, уходить не надо было. А. С. Б. упомянул об инциденте, происшедшем накануне: один из знакомых Анны Андреевны обозвал Аню Каминскую «нерусской» за ее польское происхождение и принадлежность к комсомолу. Анна Андреевна спокойно и твердо ответила: «Мне кажется, что, пока живы, мы должны друг другу помогать, подбадривать друг друга, а такими словами делу не поможешь... И это Аня не русская! Она, которая в 1941 году все сосала пустую соску, ехала с родителями дорогою смерти через Ладожское озеро, а когда ехали, от бомбежки на ней три раза загоралась шубка...»

Говорили о возможно скором возвращении Анны Андреевны в Париж, о чем она очень мечтала, — «на этот раз не инкогнито, а официально». Намечалось приглашение от французского правительства. Сурков обещал взять Анну Андреевну на переговоры с Пен-клубом. Возможностей как будто было много, но, перебирая их, Ахматова делалась грустной: она знала, что все эти поездки висели на волоске из-за ее здоровья. С собой в Россию она везла целую библиотеку, главным образом, английских книг:

— Особенно горю нетерпением прочесть дневник Кафки, у меня он по-английски, так как по-немецки мне читать трудно.

О той или иной книге Анна Андреевна спрашивала:

— Как вы думаете, можно везти? Не отберут?

Мы отвечали: «Уж вас осматривать не будут».

— Может быть... Когда я ехала из Италии, меня не только не осматривали, но на таможне служащие попросили надписать им книги. Я сказала, что у меня своих книг нет, а они откуда-то сами достали.

Я показал Анне Андреевне ротаторное издание 50 стихотворений, объяснив, что это было сделано для нужд студентов.

— А то мы в Москве не понимали, что же это вы в Париже докатились до ротаторных изданий.

Постепенно разговор перешел снова на литературные темы. «Да, Иннокентий Анненский грандиозный поэт, из него все вышли. Из Блока никто не мог выйти, слишком он был совершенен. А из Анненского — все: дожди предвещают Пастернака, его — ливни, “Диди-Ладо” — Хлебникова, “Шарики детские” — Маяковского...»

Я тут опрометчиво перебил: «“Диди-Ладо”, “Шарики детские” — далеко не лучшее, что Анненский написал». Анна Анд-

реевна нахмурилась: «Дело не в том, что лучше и что хуже, а во влиянии; я вам сейчас свои мысли говорю, об этом еще мало знают».

А. С. Б. спросил, издадут ли теперь Анненского? «Что значит — издадут? Издали в 1959 году однотомник, но книга не сразу распродалась, они и не переиздают. Варвары! Они не понимают, что хорошая книга должна полежать...»

— Совсем не мы с Гумилевым, — продолжала Анна Андреевна, — вытянули Анненского. Мы тогда были слишком молоды, у нас было то, что называется «богатая личная жизнь», мы не о том думали. И чего только мы не вытворяли. Помню, как я лазала по карнизам, это уж когда у меня ребенок был. Теперь я совершенно не понимаю, для чего это было нужно... Нет, Анненский попал в «Аполлон» через Вячеслава Иванова, который знал его как переводчика греков. Но Иванов и Маковский побавались Анненского и приставили к нему Гумилева, чтобы контролировать его, но просчитались... А ценили стихи его мало... Вот Маковский даже выкинул из номера за 1909 год «Аполлона» стихи Анненского и заменил их этой непристойной мистификацией — Черубиной де Габриак*. Анненский очень остро пережил это непонимание, у меня хранятся письма Анненского к Маковскому. Тогда же он написал свое, всем нам известное, стихотворение «Тоска»... Про «детей», которых «перевязали», «ослепили» — это про стихи свои, совсем тут не любовь, как кто-то придумал. И умер... У меня об этом готовы страницы.

К Маковскому Ахматова относилась отрицательно, кажется, всю свою жизнь. Она его считала недоброжелательным и неправдивым критиком: «Был покровителем “молодых”, а они стали поэтами, на которых молятся, а он остался ни при чем, все от этого». К Георгию Иванову Ахматова относилась, пожалуй, еще более отрицательно. К Ирине Одоевцевой много мягче.

— Волошин, Кузмин, Вячеслав Иванов — все они для нас больше не существуют**. Недавно я взяла «Cor Ardens» и на-

* Поэтесса Елизавета Ивановна Димитриева была превращена в таинственную Черубину де Габриак М. Володиным. Жертвой мистификации оказался Маковский, влюбившийся заочно в свою корреспондентку. См.: *Маковский С. Портреты современников*. Нью-Йорк, 1955. С. 333—358.

** Это не совсем верно. В Сов. России среди молодых есть и поклонники Вячеслава Иванова.

шла, что нечитаемо. В нем гораздо больше Бальмонта, чем мы думаем...

Я стал протестовать: «Все же не Бальмонта!» Но Ахматова была категорична: «Да, да, именно Бальмонта. Даже удивительно, всеобъемлющий ум, а теперь читать трудно. Конечно, некоторые вещи — ничего. А вот, как они называются, да, “Зимние сонеты”, это — да».

Я предложил объяснение превосходства «Зимних сонетов» над остальными стихами Иванова: «Не думаете ли вы, что это потому, что они пережиты, а не надуманы?» Но Анну Андреевну это объяснение не удовлетворило. «Пережить, — возразила она, — это недостаточно, а вот что он мог в 1919 году, когда мы все молчали, претворить свои чувства в искусство, вот это что-то значит».

У нас с А. С. Б., не помню по какому поводу, завязался спор о Брюсове. А. С. Б. утверждал, что во время его молодости, в 10-х годах, Брюсовым зачитывались, его поэзией увлекались, жили, значит — Брюсов все же настоящий поэт. Мы с Анной Андреевной поочередно нападали на А. С. Б., доказывая, что Брюсов не поэт.

— И Бенедиктова предпочитали Пушкину, — воскликнула Анна Андреевна, — и что из этого? Брюсов был отрицательная личность, я читала его дневник: он его вел, когда приход превышал расход, а потом бросил. Это страшный документ по ничтожеству и плоскости... Какое себялюбие, какая невежественность! Его невежество... особенно сказалось в его изданиях — пушкинистам это очевидно. Поэт? Шумел, как шумят теперь Вознесенский и Евтушенко. А какая у него иссушающая, мертвящая критика... Ведь он проглядел Анненского!

А. С. Б. возразил:

— Но ведь и Блок проглядел Анненского... *

Анна Андреевна отпарировала:

— Что Блок, это не его дело, он не этим был занят.

По поводу Блока я сказал: «Странно, что Мандельштам так отбрасывал Блока в XIX век». Анна Андреевна ответила: «Да, к Блоку Мандельштам был несправедлив. Мне, собственно, Блок теперь не нужен, но когда начнешь читать...»

Заговорили о «Возмездии».

— Да, там есть хорошие места, но ведь в целом это заранее обреченная поэма. «Евгений Онегин» убил русскую поэму сво-

* Не совсем точно, что Блок проглядел Анненского: см. его рецензию на «Тихие песни».

им совершенством, и Баратынского, и других, так уж было нельзя писать.

А. С. Б. вернулся к Брюсову: «Но ведь и Гумилев ученик Брюсова, посвятил ему “Жемчуга”!» Анна Андреевна возмутилась: «Это вы уж меня спрашивайте, это при мне было. Это страшная Колина глупость, я ему уже тогда говорила. Но он обязательно хотел поступить как Бодлер, который посвятил Теофилю Готье свои “Fleurs du Mal”. Вот и Коля так сделал... Но чтобы он был учеником Брюсова, сидел подле него, это нет. Все суют *Lesconte de Lisle*’я, Брюсова, но этим не объяснишь поэта “Памяти” и “Заблудившегося трамвая”».

Заговорили о Пастернаке. Я признался, что принимаю его наполовину. О поэзии Пастернака Анна Андреевна ничего не сказала, но о человеке выразилась несколько загадочно: «Я до сих пор думала, что я одна понимаю Пастернака. А вот в Англии я встретила человека, который понял его тоже до конца. Пастернак — “божественный лицемер”, как выразился обо мне мой соавтор по переводам»*.

— А Цветаеву вы любите? — обратилась ко мне Анна Андреевна.

Я ответил, что люблю ее ранние, юношеские стихи, до фокусов.

— У нас, — сказала она, — сейчас страшно увлекаются Цветаевой, но я считаю, что это отчасти потому, что у нас совершенно не знают Белого, а у Цветаевой очень много от Белого.

Вся эта «беседа о стихах», как назвала ее Анна Андреевна в надписи на моем экземпляре ее сборника, изданного Чеховским издательством, шла очень оживленно, я бы сказал, с вдохновением. После нее Анна Андреевна снова стала читать стихи, сама предложила их записать на ленту. В частности, она прочла таинственное «Зазеркалье» из «Полночных стихов»: «Красотка очень молода», которое не было пропущено цензурой при печатании всего цикла в «Дне Поэзии» за 1964 год**. «По-моему, — сказала она, — “Полночные стихи” — лучшее, что я написала... Но даже такой замечательный знаток нашей поэзии, как Лидия Гинзбург, недоумевает, кому они посвящены». В связи с этим Анна Андреевна упомянула, что у ней имеется чита-

* Вероятно, Найман. В применении к Ахматовой это выражение относится не к человеку, а к переводчику.

** В беседе с другим человеком Анна Андреевна про «Зазеркалье» сказала: «Вам не кажется, что это очень страшная вещь? Мне всегда страшно, когда я ее читаю».

тель номер 1, которому первому читаются ее произведения, но этого таинственного читателя она не назвала.

Было уже совсем поздно. Разговор иногда замирал. В одно из молчаний Анна Андреевна вздохнула: «Ну что это со мной мои девки делают! Куда они исчезли!» Но вскоре беседа снова полилась оживленно. Анна Андреевна меня спросила: «Вы любите Паустовского?» Я ответил, что его воспоминания мне кажутся интересными, как документальная повесть. О них Анна Андреевна ничего не сказала, но заметила: «Вел и ведет он себя безупречно, но писатель он не особенный». Я согласился: «Да, это не то что Солженицын». Ахматова подхватила: «Да. Когда вышла его большая вещь («Один день Ивана Денисовича»), я сказала: это должны прочесть все 200 миллионов. А когда я читала “Матренин двор”, я плакала, а я редко плачу. А вот его маленькие поэмы в прозе мне что-то не очень нравятся. Человек он очень хороший, очень порядочный. Он был у меня, читал мне поэму, длинную-предлинную, в 10 000 стихов, которая ему спасла жизнь в лагерях. Он, кажется, ее потом, уже на свободе, всю по памяти записал. Я сказала: Не печатайте. Пишите прозой, в прозе вы неуязвимы, а в стихах ваших мало тайны. А он ответил: А в ваших стихах, не слишком ли много тайны? Но, в общем, он принял это хорошо, однако больше не вернулся. Но две вещи мне в нем не понравились. Во-первых, он сказал, что “Реквием” — не то, потому что там только мать и сын, а нужно другое, не частное, а общее. Во-вторых, он удивился названию — неужели реквием можно служить по простым людям, он думал, что реквием — это только для царей и епископов».

Я удивился: «Как это так?»

— Да он в прошлом инженер-химик, прошел советскую школу, это не то, что вас тут всему учили...

Из молодых поэтов Анна Андреевна выделяла особо Бродского. С некоторым опасением она нас спросила: «А вам не нравятся его стихи? Ведь это настоящий вундеркинд. На процессе он держал себя замечательно: все девчонки в него влюбились». И процитировала задумчиво-грустно:

«Ни земли, ни погоста
Не хочу выбирать:
На Васильевский остров
Я приду умирать...

А теперь он на каторге...»

«Но, говорят, в своем совхозе он на свободе?» — «Да, — ответила Анна Андреевна, — но на этом его свобода кончается.

Нам перед отъездом сказали опять, что его освободят, ну понятно, для чего сказали. Мы звонили в Москву, но там ни слуху ни духу...» *

Из поэтесс Ахматова высокую оценку дала Марии Петровых. Ее имя, как и ряд других, мало известных на Западе, она указала в интервью, данном «Таймсу»: «Многих я думаю этим спасти, ведь некоторые буквально сходят с ума, оттого что их не печатают».

Беседа наша не умолкала, несмотря на то, что было уже далеко за полночь, когда в комнату ворвалась *bande joyeuse*, — Аня, Аманда и еще чета французских студентов, встречавшихся с Ахматовой уже в России. Они наполнили комнату молодостью, весельем, шумом, но нарушили мирное, исполненное поэзии настроение, царившее до них. Мне показалось, что Анна Андреевна взгрустнула, может быть, просто от усталости. Я стал прощаться. Анна Андреевна предложила, чтобы магнитофон переночевал у нее до следующего утра. Я понял это как разрешение приехать еще раз проститься перед отъездом.

На следующее утро я прибыл в гостиницу часам к десяти. У Ахматовой были уже посетители. Она сидела на прежнем месте, но на вчерашнюю Ахматову, полную силы и вдохновения, не была похожа. Ею овладело свойственное ей предпутешественное беспокойство: «У меня ужасная черта, — объяснила она мне, — перед отъездом я не могу успокоиться, пока не сяду в поезд... Нет, — засмеялась она, — чтобы поезд шел, мне не нужно, просто усесться в вагоне». Анна Андреевна боялась сердечного припадка, но заблаговременно приняла лекарство, чтобы предотвратить его. Выражение ее лица было совсем простое, удивительно доброе. Насколько помню, она была в платке, и это придавало ей еще больше простоты. Видно было, что все силы ее уходили на то, чтобы сохранить самообладание: все, что было в ней царственного, величественного, как-то исчезло, заменилось беспомощностью. Вести разговор было нелегко, в комнату все время входили люди. В какой-то момент, по ее просьбе, я подсел к ней. Она вынула из сумки фотографию и рукопись: «Смотрите, мне только что принесли». Это была семейная фотография 1916 года: слева Гумилев в форме, перед отъездом на фронт, «с одним Георгием», как пояснила она мне, справа Ахматова, посередине сын**. Чувствуется отчужден-

* Как известно, Бродский был освобожден осенью 1965 года.

** Эта фотография была затем напечатана в «Русской мысли» от 23 апреля Петром Анненковым.

ность и вместе с тем какой-то мир. Я это сказал Анне Андреевне. Она отнеслась недоверчиво: «Мир? Не знаю». Рукопись была написана рукой Гумилева: шуточное стихотворение и рисунок в красках.

Я спросил Анну Андреевну, считает ли она целесообразным, чтобы я писал о Мандельштаме, выразив при этом скептический взгляд на литературную критику, стоит ли, мол, облеплять поэзию скучной прозой. Но Ахматова была другого мнения о критике: — «Это ведь тоже творчество. Конечно, пишите о Мандельштаме, а я вас благословляю писать о “Полночных стихах”». Анна Андреевна стала собираться в путь. Но внизу, в приемной гостиницы, ей пришлось еще некоторое время подождать — посольская машина запаздывала. Одно время она оказалась одна, и меня попросили к ней подсесть, занять ее разговором, чтобы успокоить ее волнение. Мы поговорили о стихах Мандельштама, ей посвященных, о его стихах, посвященных О. Ваксель: «Возможна ли женщине мертвой хвала». — «Не правда ли, — сказала Анна Андреевна, — дивные стихи?» Тут подъехала машина, и Анна Андреевна сказала мне на прощанье: «Да хранит вас Господь», — а обернувшись к подходящим к ней молодчикам из посольства, с оттенком удивления, но не без добродушия: «Это и есть посольство?»

Как-то, во время первой беседы, Ахматова обратилась ко мне и с веселым любопытством спросила: «А вы думали, Ахматова такая?» Я ответил совсем искренно: «Да, такая». Но, может быть, я был бы еще правдивее, если бы сказал: «Нет, такого я не ожидал». Да, я знал, что встречу в первый и, вероятно, в последний раз в жизни великого поэта. Но из Англии писали, что Ахматова уже не та, надломленная, больная... Там ее видели на пьедестале, надменной, неприступной. А передо мной предстал не только великий поэт, но и замечательный, необыкновенный, великий человек. Великий в своей простоте. Тут, в Париже, она со своего пьедестала сошла и была, быть может благодаря многочисленным встречам со старыми друзьями, совсем простой, я бы сказал, домашней. Оживленная, добродушно-насмешливая, то веселая, то задумчиво-грустная, ласковая и щедрая, хотя и суровая в некоторых суждениях, Ахматова поражала своим твердым умом, своей взыскательной совестью и неподдельной добротой. Той добротой, о которой она сама сказала, что она «ненужный дар» ее «жестокой жизни».

Но, конечно, сверх всего и прежде всего, Ахматова поражала и покоряла той музыкой, той божественной гармонией, ко-

торая исходила из нее и все вокруг преображала. Не только в стихах, но всем существом своим, — и не в этом ли ее необычайность? Ахматова была самой поэзией, высшим и чистейшим ее воплощением.

